

Л.А. КАЛИННИКОВ

(Российский государственный университет им. И. Канта)

«Звездное небо» и «моральный закон» —  
поэтическая тема с вариациями<sup>1</sup>

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — *звездное небо над мной и моральный закон во мне.*

*И. Кант. Критика  
практического разума*

Этот афоризм Канта, где приведены в связь беспредельный космос и душа человека, содержит в себе что-то такое, что запускает в движение поэтически настроенные разум и сердце. Зрелище пылающего мирадами звезд неба само по себе приводит в восторженный трепет даже лишенные впечатлительности души; когда же при этом в сознании оживают атавистические чувства и мысли о тайнодействии светил на судьбы, переплетающиеся нерасторжимо с идеей единства законов космоса и законов земных, с идеей универсальной целостности и тождественности мировых структур, тогда восторг эстетический сливается со страстным желанием упорядоченного и хорошо организованного мира, в центре которого, конечно же, оказывается идеально моральный человек.

Сама эта связь между звездами в небе и человеческими делами в сознании людей присутствует давным-давно и достаточно тривиальна. А потому кажется непонятно странным, что афоризм Канта нашел отклик в душах многих русских поэтов, послужив делу если не создания особого звездно-

<sup>1</sup> Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант №05-03-03219а.

этического жанра русской философской лирики, то вполне определившейся в ней устойчивой темы, остающейся продуктивной до сих пор.

Явление это, на мой взгляд, уникально. Ничего аналогичного в других мировых литературах я не знаю и только рад был бы ошибиться. Факт этот, конечно, наводит на размышления, и я нахожу ему объяснение. Сказались исключительность личности Канта и необыкновенная глубина и смелость парадоксальной его философии. Ведь это Кант доказывает, что природа и мораль — совершенно различные вещи, более последовательного антинатуралиста в истории этики трудно себе и представить, не то что найти; и этот же Кант пишет о глубинной и таинственной связи законов неба и законов морали, на пределе рационального понимания требуя уметь усмотреть их родство, преодолевая явную антиномию. Но сказалось не только это, сказалось не менее исключительное положение философской системы Канта в духовной жизни и интеллектуальной борьбе в России на протяжении XIX и начала XX века. В России философия Канта не была в этот период уделом только профессионалов: на переломе столетий она стала злободневным фактом общественной жизни. Косность традиционного бытия стала уже жизненно опасна, и Кант привлекался как весомейший аргумент в обсуждении общественных перспектив. Действенно-прагматический смысл примата разума был уловлен русскими интеллектуалами и противопоставлялся ими обездушенному, как им казалось, союзу марксизма и позитивизма. Столкновение философских мнений выплеснулось на страницы газет и журналов, мировоззренческие дискуссии разгорались в салонах, обществах и кружках, по изданию специальных философских книг и переводов Россия вышла на первое место в мире. В течение первого десятилетия XX в. почти все основные сочинения Канта были переведены на русский язык; Россия опередила в этом отношении другие страны Европы; а «Критика чистого разума» к этому времени имела уже три варианта переводов. Мода на кантианство и неоканти-

анство распространилась во всех кругах общества, свидетельством чего могут служить «Симфонии» Андрея Белого или его роман «Петербург».

В русском обществе стоявшие перед ним задачи всегда находили выход в художественную литературу и самый чувствительный ее нерв — поэзию. Эту корреляцию социальных проблем и художественских идейных течений подметил Ф.А. Степун, назвав ее «явлением плеядности». «Мы знаем, — писал он, — плеяду пушкинских лириков, плеяду классиков, плеяду народников-разночинцев, плеяду символистов и т.д.» [8, с. 286]. Именно для «плеяды символистов» Кант и стал явлением их художественного мира. Если все это учесть, то в продуктивности такого странного поэтического явления, о котором идет речь, нет ничего исключительного. Да и из *плеядности* должно сделать все выводы. Ведь продуктивность того или иного жанра определяется еще и просто наличием образцов, присутствием таких творений, к которым нельзя остаться равнодушным, которым возникает желание и подражать, и превзойти их, как рождение венка сонетов заставило больших поэтов сплести свои. Н.М. Языков в прекрасном стихотворении «Гений» как раз этой идеей и вдохновлялся:

Так гений радостно трепещет,  
Свое величье познает,  
Когда пред ним гремит и блещет  
Иного гения полет;  
Его воскреснувшая сила  
Мгновенно зреет для чудес...  
И миру новые светила —  
Дела избранника небес! [11, с. 154]

Соревновательный дух при восторженном поклонении — стимул настолько сильный, что не дает покоя, пока не обеспечит вызревание ответа.

Интерес к Канту теперь, уже в начале XXI столетия, переживает очередной ренессанс. Поставив в центр мироздания человека как самоцель, который сам для себя оказывается все

более интригующе загадочным по мере того, как наука разгадывает и моделирует в технических системах одну за другой его казавшиеся сокровенными функции, а они оборачиваются лишь оболочкой, лишь покрывалом Майи, для еще более таинственных способностей, — Кант предстает перед нами современным вечно и все более и более современным. Необычным образом время, протекшее за два последних столетия, не отдалило нас от Канта, как и Канта от нас, а напротив, приблизило к нему.

\* \* \*

Для Канта созданный им афоризм вовсе не был случайностью, выражением стремления образно и красиво завершить проведенное исследование практического разума, что само по себе никогда не было ему чуждо. Непосредственно развивая эту афористически выраженную идею, он отмечает, что оба связываемых им предмета — звездное небо и моральный закон — в душе нашей тяготеют друг к другу. *Звездное небо* «начинается с того места, которое я занимаю во внешнем чувственно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет связь, в которой я нахожусь, с мирами над мирами и системами систем в безграничном времени их периодического движения, их начала и продолжительности» [4, т. 4(1), с. 499], и в связи этой я — точка случайная и эфемерная, так как «взгляд на бесчисленное множество миров как бы уничтожает мое значение как *животной твари*, которая снова должна отдать планете (только точке во Вселенной) ту материю, из которой она возникла»; а *моральный закон* говорит мне, что Я — личность и как таковая нахожусь с миром во *всеобщей и необходимой* связи, которая, напротив, «бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа, через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной природы и даже от всего чувственно воспринимаемого мира...» [4, т. 4(1), с. 500]. Моральный закон, сам бу-

дучи дан только разуму, говорит нам о наличии таких свойств мира как целого, то есть мира как в нас, так и вне нас, которые «не могут быть непосредственно показаны в обыденном опыте», а обнаруживаются только при посредстве разума; и именно эти-то свойства, выражающие глубинную сущность мира, роднят нас с ним.

О связи законов звездного неба и морального закона, который, по убеждению Канта, тождествен человеческой природе и представляет собою человечность как таковую, философ размышляет неустанно. Силы тяготения, силы притяжения и отталкивания определяют движение небесных тел так же, как силы социальной целостности — и тут Кант по аналогии делит их на силу *общительности* и силу *необщительности* — направляют поведение людей. «Необщительная общительность» (*ungesellige Geselligkeit*) — превосходный оксюморон, созданный Кантом, напоминает непритягивающее притяжение механики Ньютона. Однако результат действия сил тяготения — а это строй планет и звезд — можно восхищенно созерцать, действие же сил социальной целостности для внешних чувств недоступно: они руководят движениями души и нашим поведением так, что дать себе отчет об их влиянии очень трудно. Вместе с тем вполне можно гармонический порядок звезд использовать в качестве символа законосообразных отношений людей как выражения общественной гармонии, поскольку между ними найдена глубокая аналогия. Непосредственного сходства нет никакого, но сходство есть между двумя рядами этих отношений. И когда Кант замечает, что «прекрасное есть символ нравственно доброго» [4, т. 5, с. 375], то горящий в ночи звездный строй для пламенеющих моральным законом человеческих сердец — образец символической связи.

Однако на связь эту должно смотреть много шире, ибо за нею прозревается угадываемое единство двух частей мироздания: мира природы и мира свободы, обрисованных кёнигсбергским мудрецом в великих его созданиях: «Критике чистого разума» и «Критике практического разума». Мир и наше в

нем место можно понять только как *систему*, как «идею целого», при умении выведения частей из этого целого и их отношении друг к другу. Возможность обнаружения и доказательства единства мира на основе единства сознания, которое лишь в разном применении, то есть в различных своих функциях, играет роли то разума теоретического, то разума практического, и составляет сущностный пафос философского критицизма; возможность же такая заключена в определяющем суть трансцендентального идеализма и восхищающем современньй ум принципе *примата практического разума* по отношению к теоретическому. Иными словами: надо *быть человеком*, чтобы уметь познавать природу, то есть надо иметь моральный закон в душе, чтобы получить возможность познания безграничного макро- и микрокосмоса и иметь способность любоваться звездным небом.

### *Сколько глубоки идеи о родстве неба и морали?*

Совершенно очевидно отсюда, что не мгновенное наитие, не случайный экспромт — эти ставшие всемирно известным афоризмом слова; недаром Кант отмечает *частоту и продолжительность* размышлений над проблемой: сознание философа явно отметило и обращалось к ней не раз, видимо, с первых шагов самостоятельной мысли, фиксируя любое упоминание о неочевидном отношении *звездной славой горящего неба* и достойного этой красоты и славы человека, столь поэтически выраженной в «Псалтири». В пиетистском воспитании и образовании роль Библии трудно переоценить, и Кант знал «Псалтирь» почти наизусть. Еще в гимназии он должен был, помимо пяти книг Моисеевых, читать псалмы Давида под древнееврейски. Может быть, здесь проблема предстала перед ним впервые? В псалме восьмом звучала для него интересующая нас идея как вопрос: «Когда взираю я на небеса Твои, — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что *есть человек*, что Ты помнишь его, и сын человеческий,

что Ты посещаешь его?» (Пс. 8, 4—5) И тут же дается на него ответ: «Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честию увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его...» (Пс. 8, 4—7). И еще раз о том же говорится в псалме восемнадцатом, что природа — это символ красоты и совершенства Божьего Слова, освещающего человеческую душу, как Солнце освещает мир: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их» (Пс. 18, 2—4). И голос небес — это «закон Господа», что укрепляет благочестие; «повеления Господа праведны — веселят сердце, заповедь Господа светла — просвещает очи» (Пс. 18, 8—9).

Идея, без сомнения, обратила на себя внимание Канта, заставила задуматься, а расширение кругозора, чтение древних авторов внесли в нее новые нюансы. Хорошо известно, что Кант-гимназист был одним из лучших во «Фридрихсколлегииуме» в классических языках, особенно в латыни. Он даже собирался посвятить жизнь изучению классических древних языков и культуры и стать профессором классической филологии. Преподаватель латинского языка Хайденрайх всячески содействовал этому. Кант особенно его любил и был благодарен Хайденрайху всю свою жизнь. «Кантиус», как стал он себя величать на римский манер, читал латинских и греческих авторов и за пределами классов. На шестом году обучения в «Collegium Fridericianum» положено было цитировать речи Цицерона и знать, помимо других избранных сочинений, его этический трактат «De officiis» (Об обязанностях). Кант перечитал всего Цицерона и знал его творчество досконально, выделив его из большого числа латинских авторов. Даже горячо любимые Лукреций и Гораций уступали тускуланцу пальму первенства в его душе.

О длительности и глубине воздействия Марка Туллия Цицерона на кёнигсбергского философа мы можем судить по словам самого Канта — и тем вернее, что он обращается к

имени римского оратора и философа даже в ситуациях обыденных, не требующих ни малейшего внимания к каким-то метафизическим премудростям. Уже на склоне своих лет в трактате «Спор факультетов», содержащем и спор философского факультета с медицинским, где Кант дает советы, как жить долго и при этом быть здоровым и счастливым, он пишет о своем опыте избавляться от бессонницы, заключающемся в обращении к «своему стоическому средству, которое состоит в том, чтобы заставить свои мысли перейти на какой-либо по существу безразличный мне объект (например, на *содержащее множество ассоциативных представлений имя «Цицерон»*) (курсив мой. — Л.К.) и тем самым отклонить свое внимание от неприятного ощущения...» [6, с. 248]. Брошенная мимоходом характеристика говорит сама за себя.

В сочинениях Цицерона обсуждались вечно животрепещущие проблемы, занимающие любого думающего человека, в какие бы времена он ни жил. И для Канта эти проблемы стали определяющими. Цицерон привлек его также и складом своего, родственного самому Канту, ума, своей логичностью мышления, заключающейся в последовательности его, в движении от одних выводов к другим до их прослеживаемого естественного предела; умением столь же определенно обрисовывать разнствующие или даже противоречащие выводы и отсутствием боязни перед открывающейся антиномичностью ситуаций; стремлением находить решение противоречиям логическими же средствами, — то есть, роднит их доверие разуму, одинаковое понимание того, что разум составляет самую суть природы человека. С убежденной страстностью оба мыслителя отстаивают идею необходимости разумного управления страстями, обязательности контроля разума над аффектами души. Ситуацию, когда приходится сказать: «Об этом я не подумал!» — оба считают совершенно противоестественной.

Кант находил у Цицерона в качестве достоинств «совершенство схоластической основательности» и, казалось бы, противоречащую ей «популярность изложения» и ставил его в

этом отношении на первое место как среди древних, так и среди новых мыслителей. Единство того и другого образует «истинно популярное совершенство знания», которое есть «великое и редкое совершенство, знаменующее большое проникновение в науку», требующее «практического знания мира и людей, их понятий, вкуса и склонностей» [5, т. 8, с. 304], говорил он в курсе лекций по логике, обращаясь к истории развития стиля мышления.

Все эти сведения служат основанием утверждению, что Цицерон оказал большое влияние на формирование мировоззрения Канта еще с гимназических и студенческих лет. Идея Цицерона, многократно им выраженная, что природа сама в себе содержит принципы, которыми она руководствуется, что для этого ей вовсе не нужно ни множество богов, ни единственный Бог, оказала существенное воздействие на молодого Канта. Идея эта и нашла свое яркое проявление в космогонической гипотезе: мы, с помощью самую природой данного разума, не только в состоянии понять, по каким законам функционирует Вселенная (что утверждалось и Ньютоном), но законов этих вполне достаточно и для объяснения и понимания того, как эта Вселенная возникла (что Ньютоном решительно отвергалось). Последний исходил из убеждения, что акт Божественного Творения мира абсолютно не дано понять брэнному человеческому разуму.

Здесь же, во «Всеобщей естественной истории и теории неба», Кант предполагает, что свойства разума зависят от материального субстрата той части мира, где этот разум сформирован, и будь этот субстрат иным в какой-либо другой его части, иным был бы и разум, пребывающий там. В диалоге Цицерона «De legibus» («О законах») Кант с его ищущим и систематическим умом не мог не обратить внимание на такое утверждение автора: «... самому человеку та же природа не только даровала быстрый ум, но дала и чувства как бы в виде спутников и вестников, разъяснила ему многие темные и недостаточно [сложившиеся] представления, как бы основания

для знания; природа придала ему внешний вид, подходящий и вполне соответствующий человеческому уму. Ибо она, заставив все другие живые существа наклоняться к земле, чтобы принимать пищу, *одного только человека подняла и побудила его смотреть на небо, как бы на родное для него место и его прежнюю обитель...*» (курсив мой. — Л. К.) [9, с. 97].

Но Цицерон мог возбудить не только вопрос: как же связаны небо и человеческая душа — естественно или трансцендентною силою? У Цицерона Кант мог найти много таких идей, что составили самую сущность практической части в системе трансцендентального идеализма. Речь, разумеется, не идет о том, что у Цицерона Кант мог обнаружить в готовом виде те положения, что послужили основой философии нравов критицизма. Но по собственному опыту мы знаем, сколь эвристичным, будящим творческое продуктивное воображение может быть процесс чтения. Обдумывание какой-то проблемы при сопоставлении с точкой зрения на нее, представляющее со страниц читаемой книги, проливает на проблему новый свет, предмет размышлений начинает выглядеть несколько иначе. И появляется возможность разглядеть если не готовое решение проблемы, то контуры его, те ориентиры, двигаясь в направлении которых задача оказывается решенной.

Идея автономии морали — главное отличительное свойство Кантовой этики — вполне могла зародиться, когда Кант читал в трактате «О законах» многократно повторяющуюся мысль: «Если то, что заслуживает похвалы, есть добро, то в нем самом непременно должно и заключаться нечто такое, за что это хвалят; ибо добро само по себе существует не благодаря мнениям, а от природы» [9, с. 103]; «право само по себе требует, чтобы к нему стремились и его ценили» [9, с. 104] и т.п. Канту, конечно, потребовалось Цицероново понятие *природы* сузить до понятия *природы человека*, а в *природе человека* выделить мораль как ее сущность, противопоставленную натурализму знаменитого оратора, равно как и вообще всякому натурализму. Благодаря чтению Цицерона могла родиться

и идея закона — *категорического императива* как морали, так и права, ибо Цицерон много рассуждает о том, что «возникновение права следует выводить из понятия закона», но *закона высшего*, «который, будучи общим для всех веков, возник раньше, чем какой бы то ни было писанный закон, вернее, раньше, чем какое-либо государство вообще было основано» [9, с. 104].

Какова же суть этого *высшего закона*?

Ответ на этот вопрос римского ученика академиков и стоиков, без сомнения, подвинул Канта на поиски формул *категорического императива*. В трактате «Об обязанностях» Цицерон писал о том, что «люди рождены ради людей», что «общность всего рода людского» связывает всех естественными узами в единое «естественное общество», «широчайше открытое для людей в их взаимоотношениях, для всех в их отношениях со всеми». Именно потому, что *нет ничего более полезного для людей, чем другие люди* (правда, к людям осторожный Цицерон добавляет и богов), «на первом месте должен быть тот род обязанностей, который зиждется на общественных узах между людьми» [10, с. 132—133]. И формулу всеобщего закона, и формулу конечной цели в этих суждениях Цицерона можно было бы усмотреть, если, конечно, знать, что искать. А Кант, что очевидно, это знал. Первая формула *категорического императива* гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства» [4, т. 4(1), с. 347]; вторая же формула определяется Кантом следующим образом: «*Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого как к цели и никогда не относился бы к нему как к средству*» [4, т. 4(1), с. 270].

Кант, таким образом, вполне соглашался с Цицероном, что моральный закон можно рассматривать в качестве неба в человеке, если человека сравнивать с природой. Но открытым для него оставался вопрос: а можно ли небо ставить на место морального закона относительно природы как таковой? Насколько правомерно антропоморфизировать природу?

Разумеется, мною намечены лишь самые вероятные истоки знаменитого изречения Канта, а логика, которой я пользовался, проста: какие спроектированные на жизнь философа аллюзии предполагает оно? Как оно стало возможно?

*Звездное небо ради морального закона  
или моральный закон ради звездного неба?*

В чем тайна их связи? Или они образуют целое для того, чтобы разум и воля человека могли утверждать себя в мире? Именно это — Кантова точка зрения. Или это связь бессмысленного целого с еще более бессмысленной и эфемерной песчинкой во Вселенной? А может, сам человек существует лишь для того, чтобы вечно славить, неустанно петь хвалу Небу? Или красота Неба дана, чтобы мог человек примириться с бесцельностью собственного существования? Или чтобы указать ему на эту бесцельность?.. Кант поставил проблему, предложил ее решение. А может ли оно удовлетворить всех? — этот вопрос остался открытым. Для возможности даровать решение лучшее...

Кант как бы спровоцировал поэтическое состязание.

Может быть, высшим и лучшим следствием этого состязания стала книга стихов Вячеслава Иванова «Кормчие звезды». Она вышла из печати в 1903 г., когда приближающийся столетний юбилей со дня смерти Канта был злобою дня. Образованная Россия жила надвигающимся событием ничуть не менее напряженно, чем Европа, а пожалуй, даже и более. К обстоятельствам этого странного, на первый взгляд, явления можно возвращаться и искать его объяснения, но это так. Кант и его афоризм о звездном небе присутствуют в названии книги Вяч. Иванова; мало того, образуют ее движущий нерв. Книга эта полемически заострена против кантианского понимания связи морального закона и звездного неба. Если для Канта моральный закон представляет собой основание нашего грядущего владычества в мире звезд, то для Вяч. Иванова только звездное небо есть единственная опора человека на путях зем-

ной юдоли. О символичности названий книг и циклов стихов Вяч. Иванова сказано много, как и о решающей смысловой роли названий. Уже один только отлитый в названии замысел говорит о гениальности поэта.

Человек — пловец в море жизни, можно болтаться в нем по воле волн, а можно стремиться к цели и достичь желанного берега. Но в последнем случае без «кормчих звезд» не обойтись; если нет в тебе нравственного стержня, выплывешь далеко от намеченной цели, если вообще выплывешь. Кормчие книги для лоцмана всегда говорят о привязке ориентиров к звездам, как связал моральный закон и звезды Иммануил Кант. Вл. Соловьёв нисколько не ошибся, а разглядел самую суть дела, когда, ознакомившись со стихами «Кормчих звезд», заметил: «Номоканон. Скажут, что автор филолог, но это ничего. Это хорошо»<sup>2</sup>. Вл. Соловьёв сразу же отметил, что Вяч. Иванов самим названием книги отсылает не просто и не только к лоциям, но и к собранию предписаний церковного права, получившего на Руси название «Кормчих книг». Звезды, предопределяя события, указывают верный путь в море жизни.

Вернее брега  
Кормчие звезды!  
(«Пробуждение»)

И эпиграфом к стихотворению «Дни недели» из цикла «Геспериды» служит изречение из Диона Кассия: «Обычай приурочивать дни к семи светилам, именуемым планетами (Солнцу, Луне, Марсу, Меркурию, Юпитеру, Венере и Сатурну), возник у египтян, но существует у всех людей».

В «пожаре миров» — звездах — таится суть человеческого духа («Дух»); «Утренняя звезда» сопровождает нас в треволнениях и терниях дня, а «Вселенной перезвон соборный!» («Ночь в пустыне») раскрывает душу навстречу этой зримой

---

<sup>2</sup> Я тут не согласен с А.Е. Барзахом [1, с. 6—7], который полагает, что Вяч. Иванов не имел в виду связи своих «Кормчих звезд» с «Номоканоном». Содержание книги доказывает обратное.

музыке; человечество сзывается слиться с *воинством эфирным* в «Missa solemnis, Бетховена».

Ясно пламенеются  
Пламенники Божьи:  
Станы златоверхие  
Воинства небесного,  
Града святокрестного  
Главы огнезарные... —  
(«Днепровье»)

Вот ориентиры безошибочные. «Звездное небо» над нами сопровождает каждый наш шаг.

В этой первой книге стихов Вяч. Иванова нет прямых упоминаний имени Канта, но есть смысл всей книги, есть стихотворение «Звездное небо». Кроме того, книга «Кормчие звезды» писалась практически одновременно со второй книгой стихов — «Прозрачность», вышедшей в свет в следующем, 1904 г., а в ней — несколько стихов о Канте и его философских идеях.

#### *Пример первый*

Стихотворение Вячеслава Иванова «Звездное небо» из книги «Кормчие звезды» избрал я в качестве первого примера. Что это прямая текстообразующая коннотация заключения к «Критике практического разума» — не возникает ни малейшего сомнения, стоит только прочитать и то и другое. И вообще в творчестве этого поэта надо снимать слой за слоем со-коннотирующие значения, из которых последнее и следует воспринимать в качестве денотата. Его поэзия вся в мире культуры, где выход к объективному миру, как правило, совершенно не значим. Ее можно назвать поэзией метакультуры, поэзией всемирного культурного синтеза. Термин Фридриха Шлегеля «поэзия поэзии» в данном случае явно недостаточен, так как мировая поэзия — только часть того безбрежного океана культуры, который поэтизируется Вячеславом Ивановым. Мифология, мировые религии, мировая философия, всемирная история сплавлены в поэтические сгустки.

Звездное небо

Во младенческом покое  
Светит узкий лунный рог;  
А вокруг — огонь и трепет  
Чистых, сладостных тревог.  
Духа пламенным дыханьем  
Севы Божии полны,  
И струи небес прозрачных  
Вглубь до дна оживлены.

\* \* \*

Око в радостном покое  
Отдыхает, как Луна;  
Сердце ж алчет части равной  
В тайне звезд и в тайне дна:  
Пламенеет, и пророчит,  
И за вечною чертой  
Новый мир увидеть хочет  
С искупленной Красотой [3, с. 75].

Тема Канта задана самою композицией произведения: две строфы по восемь стихов в каждой. Первая строфа посвящена картине звездного неба, вторая же — душевным движениям, и обе сопоставлены, соотнесены друг с другом не только тематически, но и внутренней симметрией структуры двух этих строф. В каждой из них два первых стиха противопоставлены шести остальным. Умиротворенный покой луны контрастирует с вспыхивающим, мигающим, умеряющимся и возрастающим трепетом звезд — в первый строфе, а успокоенным картиною ночного неба чувствам противостоит напряженная внутренняя жизнь сердца, бьющегося страстями и желаниями — во второй. Но из всех этих страстей и хотений вырастает жажда увидеть «Новый мир», такой же младенчески чистый и радостно блаженный, как мир луны и звезд. Сердце стремится к нему — как к прекрасному видению, достигнутому искупительной жертвой Христа.

Этот общий смысл стихотворения углублен каждой строкой стиха, что начинает соответствовать бездонности смыслов исходной коннотации. Возьмем третий и четвертый стихи первой строфы:

...А вокруг — огонь и трепет  
Чистых, сладостных тревог.

*Трепет* максимально естествен для листьев осины, для лоскута флага; трепещет пламя на ветру (поскольку *вокруг огонь и трепет*). Но трепетание пламени — это уже метафора, а *огонь и трепет* — звезды. Значит, мы имеем дело с метонимией, а в итоге с метафорической метонимией. Однако ведь *огонь и трепет* — это еще и эпитеты опорного субстантива — *тревог*, чистых и сладостных, и эти *чистые и сладостные тревоги* — звезды, а не непосредственно огонь и трепет. То есть мы имеем дело с перифразой, основанием которой, в свою очередь, является синекдоха. Типичное для Вячеслава Иванова нагромождение тропов, создающее синтетическую всеобъемлемость смысла, идущего в глубины культуры, каждой стихотворной строки и всего целого строфы и стихотворения, в конечном итоге. Именно здесь — бесконечность коннотаций его текста.

С Кантом, который ищет «*Нового мира*», мира гармонии природы и человека, без посредника — Бога, — Вячеслав Иванов спорит: для него как *севы Божььи*, то есть звезды, так и нравственная красота движений сердца человеческого даруются Богом. Софийная красота и Богочеловечество как идеал, вдохновленные Владимиром Соловьёвым, одушевляют это стихотворение Вячеслава Иванова, в котором Библия, Иммануил Кант и Владимир Соловьёв сплетены в нерасторжимый узел.

Да, Вселенная оживлена до дна, она исполнена Добром необыкновенной красоты, к которому жаждет приобщиться человеческое сердце, и пророчит неизбежное с ним единство. *Пророчит!* — в этом все дело, согласно Вяч. Иванову. Русский поэт никак не хочет согласиться с Кантом, который

вдохновлен пафосом познания, пафосом взаимодействия философа и ученого, а не пророка. Творчество, с точки зрения Канта, всегда граничит с мечтательностью и суеверием, однако мораль — действенное средство созидания комфортного мира прежде всего для самого себя, для каждого человека, но также и для всего мира в целом, поскольку мораль направлена на «бесконечную пользу» [4, т. 4 (2), с. 500]. Не ждать, сбудется ли пророчество, а действовать на основе знания. В звездном небе, как доказал Ньютон, действуют те же законы, что и на земле. «Падение камня и движение пращи и проявляющиеся при этом силы, разложенные на элементы и математически обработанные, создали наконец тот ясный и для всякого будущего неизменный взгляд на мироздание, — писал Кант в знаменитом своем “Заключении”, — который, как можно надеяться, при дальнейшем наблюдении всегда будет развиваться, но никогда — этого бояться не надо — не будет деградировать» [4, т. 4 (2), с. 501].

Мир человеческих отношений можно познавать, а затем строить его в соответствии с точным знанием аналогичным способом. Тут нельзя, к сожалению, приложить математику, но аналитические способности разума использовать можно. Можно расчленить моральное сознание на «первоначальные понятия» [4, т. 4 (2), с. 501] и «с достоверностью обозначить то, что каждое из них может выполнить само по себе...» [4, т. 4 (2), с. 501].

### *Пример второй*

Его я возьму из мира прозы, но прозы опозитизированной. И стихи, и проза — в равной мере поэзия, когда это высокая литература, и всегда относительны. В данном случае это будет великий роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». В большой романной форме есть эпизоды высоко лирические, в которых герой и автор как бы сливаются хотя бы на момент, оставаясь в то же время сами собой. В диалоге автора с его ге-

роями есть положения, в которых сердца их бьются в унисон, чувства соприкасаются. Это, как правило, ситуации, в которых находит свое разрешение какой-то кризис, душевный перелом, связанный с некой катастрофой в судьбе героя. Ф.М. Достоевский, писал о нем М.М. Бахтин, любит сосредоточивать действие вокруг таких катастрофических точек и вести повествование от одной точки к другой, образуя своего рода узловую линию.

В судьбе Алексея Карамазова, героя максимально близкого автору, решающий духовный переворот связан со смертью учителя его старца Зосимы. Исстари бытовало в монастыре, монахом которого Алексей стремился стать, мнение, основанное на примерах давних, что останки святого отшельника неподвластны обычному тлению и не смертный смрад, а как бы некое благоуханье источают. Зосима же еще при жизни святостью своей прославлен был. И посему ожидалось всеми, что свершится сие благовоние на этот-то раз всенепременно; а Алеша, как новопослушник монастырский и любивший старца более, нежели отца, неколебимо уверен был, что свершится все по преданию. На деле же свершился «несомненный соблазн», т. е. покойник «провонял», как и положено покойнику. Автор замечает по этому поводу: «Вот почему и думаю я, что многие, заслышав тлетворный дух от тела его, да еще в такой скорости — ибо не прошло и дня со смерти его, были безмерно обрадованы; равно как из преданных старцу и доселе чтивших его нашлись тотчас же таковые, что были сим событием чуть не оскорблены и обижены лично»<sup>3</sup>.

«И почему бы сие могло случиться, — говорили некоторые из иноков, сначала как бы и сожалея, — тело имел невеликое, сухое, к костям приросшее, откуда бы тут духу быть?» — «Значит, нарочно хотел Бог указать», — поспешно прибавляли другие, и мнение их принималось бесспорно и тотчас же, ибо опять-таки указывали, что если б и быть духу естественно, как от всякого усопшего грешного, то все же изошел бы позднее,

---

<sup>3</sup> Все цитирование осуществляется по изданию [2].

не с такою столь явною поспешностью, по крайности через сутки бы, а «этот естество предупредил», стало быть, тут никто как Бог и нарочитый перст его. Указать хотел».

Алёша был потрясен. Рушился мир. «Тот, который должен бы был, по упованиям его, быть вознесен превыше всех в целом мире, — тот самый вместо славы, ему подобавшей, вдруг низвержен и опозорен!»

Но не прошли даром для Алексея поучения и беседы старца, что, так старательно благоговей, он записывал. А Зосима говорил о гордости сатанинской, к которой «если приобщишься, то на Бога возропщешь». Как бы заранее приготавливая его, старец говорил: «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе».

Ф.М. Достоевский переосмысливает в этих словах учение Канта о мире вещей в себе и его непознаваемости в теологическом смысле, мистифицировав отмеченную автором «Критики практического разума» связь звездных миров с нашей душою. Садовник-Бог одаривает благодатью лишь тогда, когда прикасается душа наша к этим «мирам иным»; а не нужно нам это дуновение таинственного, непонятного, случайного и странного, заранее решили мы, как здесь в сем мире все должно быть в гордыне своей, — умирает душа для благодати.

Истрадавшись, измучившись, изверившись, оказался Алёша пред гробом старца, и зазвучали в нем слова, ранее лишь умом зафиксированные, а сердцем не понятые. Он быстро вышел из кельи. «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опроки-

нулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, *тайна земная соприкасалась со звездною...*»

Обозрев открывшуюся ему ночную благодать мира, как подкошенный, Алёша упал на землю. «О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился испуга сего». Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». «Но с каждым мгновением, — резюмирует Достоевский, — он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незабываемое, как этот свод небесный, сходило в душу его». «Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом...»

Этим одним из поэтичнейших мест в творчестве Ф.М. Достоевского мы обязаны изречению Канта. Воистину один гений воскрешает силы другого для чудесного творчества. Достоевский стремился своим романом опровергнуть результаты «Трансцендентальной диалектики» из «Критики чистого разума» — разрушение Кантом догматической теологии, а средства для этого черпал из самого Канта, лишь по-своему переосмысливая их. Тот факт, что Кант обходился без Бога в своей системе, называл Богом мирскую мораль, или, точнее, носителя ее — идеально нравственное Человечество, Достоевский считал тягчайшим грехом, дьявольской гордыней философа из Кёнигсберга.

### *Пример третий*

Д.С. Мережковский начинает свой поэтический путь в 80-е годы XIX века, характеристику которым дал в нескольких строках А. Блок:

В те годы дальние, глухие,  
В сердцах царили сон и мгла:  
Победоносцев над Россией  
Простер совиные крыла,  
И не было ни дня, ни ночи,  
А только — тень огромных крыл...

Многоразличные обстоятельства личной жизни и окружения, общественные настроения и литературная мода, переплетаясь в душе его, выливались в стихи, в которых господствует расположенность к пессимизму, унынию, безверию, душевной тревоге и растерянности... Однако подобное состояние души встречало в нем и внутреннее сопротивление. Процесс становления личности, поиск собственного места в мире, испытание пригодности предлагаемых с разных сторон *ключей* к решению *мировых вопросов* ощутили себя обнаруживает в раннем творчестве Мережковского противоречием настроений.

Конфликтная семейная обстановка и знакомство с С.Я. Надсоном оказывали на поэта такое же неоднозначное воздействие, как и непрерывное пытлиное чтение. Сам факт знакомства и дружбы с С.Я. Надсоном, человеком более зрелым и известным, который к тому же ввел Мережковского в круг полезных литературных знакомств, поэта явно вдохновлял, а подражание творчеству модного Надсона склоняло лиру его в минорную тональность. Большое влияние А. Шопенгауэра, книгу которого «Мир как воля и представление», только что появившуюся в русском переводе, выполненном к тому же А.А. Фетом, Д.С. Мережковский с увлечением изучил, содействовало тому же.

Читая Шопенгауэра, нельзя было не обратить внимание на Канта; с Кантом *философ мировой скорби* спорил постоянно, и с тем же постоянством он признавался ему в нераздельной любви, противопоставляя творца трансцендентального идеализма любым самым известным и прославленным философам. Воздействие на Мережковского Шопенгауэра, а

значит и Канта, дополнено было, как уже отмечалось мною ранее, М.И. Владиславлевым, для которого Кант также был чуть ли не единственным заслуживающим внимания философом. Явно Кант повинен в том, что тема неба и звезд, с одной стороны, и состояния нашего духа — с другой, стала определяющей темой ранних стихотворений Мережковского. Правда, в полную противоположность Канту, убежденному в единстве мира космического и мира нашей души, будущий провозвестник церкви третьего завета возглашает об их безразличии и чуждости:

Нет, сердце, замолчи... ни звука, ни движенья...  
Никто нам из небес не может отвечать,  
И отнято у нас святое право мшенья:  
Нам даже некого за муки — проклинать! [7, с. 127]

Мысль эта стала темой целого цикла стихотворений. И это говорит, с одной стороны, о естественности, удобстве своего рода антикантианского прочтения кантовского афоризма для выражения пессимистических чувств, а с другой — о книжности и привязанности к литературному источнику, особенно характерным для первых шагов на поэтическом поприще Д.С. Мережковского, и не для одного его.

В сиянье бледных звезд, как в мертвенных очах, —  
Неумолимое, холодное бесстрастье... [7, с. 149]

Или еще:

И порой в безжизненном молчанье,  
Как из гроба, веет с высоты  
Мне в лицо холодное дыханье  
Безграничной, мертвой пустоты... [7, с. 149]

И новое риторическое упражнение на ту же тему:

Синее небо — глубоко и странно;  
Но не смотри ты в него так пытливо,  
Но не ищи в нем разгадки желанной, —  
Синее небо, как гроб, молчаливо [7, с. 148].

Ход рассуждений во всех этих стихах строится так, что душою своей мы и готовы, кажется, к бодрой и деятельной жизни, но это невозможно, мир ей враждебен.

Рассуждение может развиваться и прямо противоположным образом, примером чего готово служить стихотворение «Природа»:

Ни злом, ни враждою кровавой  
Доныне затмить не могли  
Мы неба чертог величавый  
И прелесть цветущей земли.

Нас прежнюю лаской встречают  
Долины, цветы и ручьи,  
И звезды все так же сияют,  
О том же поют соловьи.

Не ведает нашей кручины  
Могучий таинственный лес,  
И нет ни единой морщины  
На ясной лазури небес [7, с. 143].

Мир прекрасен, создан для добра, а мы — злы и отвратительны своей ненавистью друг к другу. Гармония между миром природы и нами только грезится.

Однако есть среди прочих и такое прекрасное произведение, в котором Вселенная и душа автора находятся в полном согласии: мир — мертвый саркофаг, но и нас не ждет ничего, кроме гроба.

Когда безмолвные светила над землей  
Медлительно плывут в таинственной лазури,  
То умолкает скорбь в душе моей больной,  
Как утихающий раскат далекой бури...

Плывут безмолвные светила над землей,  
И небо — саркофаг с потухшими мирами,  
Сиянье тихих звезд и голубая даль —  
Печалью дышит все... Могучими волнами  
И у меня в груди встает твоя печаль,

Огромный саркофаг с потухшими мирами!

Одним мучительным вопросом: для чего?  
Вселенная полна, как роковым сознанием  
Глубокой пустоты, бесцельности всего,  
И кажется, мы с ней больны одним страданьем.

Вселенная полна вопросом: для чего?

И тонут каплею в безбрежном океане  
Земные горести с их мелкой суетой  
Там где-то далеко, в лазуревом тумане  
И в необъятности печали мировой, —

Ничтожной каплею — в безбрежном океане [7, с. 130].

Хотя небо и звезды с душою в этом стихотворении и не спорят, но само оно спорит с Кантом на новый лад: у последнего в его афоризме мы ощущаем оптимистическое предвещание гармонии, того состояния мира, что он назвал «царством целей»; здесь же, у Мережковского, налицо тоже консонанс, но консонанс безнадежно пессимистический, неизлечимо болезненный. Видимо, проявилось в этом прекрасном стихотворении знакомство с идеей тепловой смерти Вселенной Томсона Клаузиуса, широко обсуждаемой не только в научных кругах, но и в средствах массовой коммуникации того времени, побудив Мережковского к созданию великолепного поэтического творения. Тему позднее подхватили Николай Гумилев, и Максимилиан Волошин, и Андрей Белый, и Александр Блок с его шедевром: «Миры летят. Года летят. Пустая Вселенная глядит в нас мраком глаз...»

Вместе с тем, вопреки всякому пессимизму, звучат в ранних стихах Мережковского и ноты бодрости, жажды борьбы, уверенности в себе. Вот одно из лучших стихотворений такого рода:

Мы идем по цветущей дороге,  
И над нами сияет весна...  
Мы блаженны, мы сильны, как боги,  
Наша жизнь — глубока и полна.

Прочь, боязнь!.. Упивайся мечтою,  
И не думай о завтрашнем дне,  
И живи, и люби всей душою,  
И отдайся могучей весне!

Нам не страшны ни муки, ни беды,  
Наша молодость чудо свершит  
И рыдания — в песни победы,  
И печаль в красоту превратит!

Да! Над миром мы властны, как боги,  
Вся природа для нас создана...  
Так вперед же, вперед — без тревоги  
По широкой, цветущей дороге!  
Здравствуй, жизнь, и любовь, и весна! [7, с. 157]

Оба эти приведенные мною последними стиха созданы в одно и то же время — 1886 год. Влияние оптимизма, свойственного Канту, было, как видно, несколько не слабее влияния «Мира как воли и представления» Шопенгауэра.

*Пример четвертый,  
которому могло бы предшествовать много других*

Это уже современная русская поэзия, которую продолжает волновать грандиозность Кантовых философских построений, смелость его космогонической гипотезы, проникновенный взгляд в глубины антиномий души человеческой. Кант — все еще не достояние истории, а живое явление духовной жизни российского интеллигентного общества. Намечился даже определенный хронологический ритм, когда обостряется интерес к великому философу из Кёнигсберга. Это происходило первый раз в 1904 году, когда отмечалось 100-летие со дня смерти философа, то же самое произошло в 2004 году, ровно через сто лет. Дню рождения Канта повезло меньше, так как 1824 год был еще слишком близок к его жизни и общество не успело осознать величия и значимости свершенного казавшимся странным и чудаковатым профессором «Альбер-

тины); а 1924 год в России проходил в условиях, когда было явно не до Канта с его универсальным персонализмом и абсолютным либерализмом.

Поэты в России к 1904 году начали готовиться заблаговременно, был собран в итоге большой урожай «кантоведческих» стихов. То было время взлета духовной культуры, когда казалось, что искусству по силам переделать мир. Как оказалось, традиция хоть и ослабла за протекшее трагическое столетие, но не исчезла вовсе, и это обнадеживает и обещает в грядущем зрелое цветение поэзии, а она в таком возрасте всегда имеет склонность к философии.

«Звездное небо» и «моральный закон» не покидают поэтического воображения, и в февральском номере журнала «Знамя» за 2004 год я с удовольствием прочитал стихотворение Фазиля Искандера, с поэзией которого ранее не встречался и принимал которого за прекрасного прозаика с комическим диапазоном от диккенсовского печально-веселого юмора до свифтовской сатиры. Стихотворение это носит название «Философ»:

Он занят загадкой грозной,  
Она не смущает его:  
Зачем мирозданию звезды  
И сам человек для чего?

Как связанность соли и хлеба,  
Души человеческой суть —  
Вместившая звездное небо  
И совесть в единую грудь.

Да, сущностное родство человечества со звездным миром, всекосмическая сущность человека, провозглашенная философским гением, вечно будет будоражить поэтическое сознание. Уходящее в глубины — в глубинное ядро — мироздания его единение с Добром — Эдипова загадка и для философа, и для поэта.

Список литературы

1. Барзах А.Е. Материя смысла // Иванов В.И. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 1. СПб., 1995.
2. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Ф.М. Достоевский. Соб. соч.: В 15 т. Т. 9. Л.: Наука, 1991.
3. Иванов В.И. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 1. СПб., 1995.
4. Кант И. Сочинения: В 6 т. М.: Мысль, 1963—1966.
5. Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Чоро, 1994.
6. Кант И. Спор факультетов. Калининград: Изд-во КГУ, 2002.
7. Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000.
8. Степун Ф.А. Мысли о России // Ф.А. Степун. Сочинения. М.:РОССПЭН, 2000.
9. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. М.: Наука, 1966.
10. Цицерон. Об обязанностях. М.: АСТ, 2003.
11. Языков Н.М. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1988.